

Валерий Крупник

# *Зеркальные Двери*



# Валерий Крупник

## Зеркальные Двери

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=38613092](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38613092)*

*ISBN 9785449355416*

### **Аннотация**

Психологический роман, построенный на классическом любовном треугольнике. Треугольник прочерчен от Висконсина до Калифорнии и до Екатеринбурга. В его углах Эдвин Маларчик, пилот ВВС США, его русская жена Таня Хворостова и человек без имени и ниоткуда.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Бежать...                         | 5  |
| Маларчик                          | 7  |
| Знакомство                        | 11 |
| Она                               | 14 |
| Он                                | 17 |
| Скотч                             | 20 |
| Ужин                              | 22 |
| Тимофей                           | 26 |
| На бежевом диване                 | 28 |
| Семя                              | 32 |
| Поросоль                          | 40 |
| Стебель                           | 45 |
| Короткие ногти                    | 52 |
| Стебель                           | 61 |
| Шэлли                             | 71 |
| Шрам                              | 77 |
| Мелинда Хилл                      | 82 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 84 |

# **Зеркальные Двери**

**Валерий Крупник**

© Валерий Крупник, 2018

ISBN 978-5-4493-5541-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Бежать...

Я чужестранец в любой стране мира, я чужеземец куда ни забрёл, чужак сбоку-припеку и сволочь порядочная. Мне скучно, и я никого не люблю, вернее люблю только женщин и только пока держится, а после любовь выходит со стоном облегчения, как рвота. Откуда только она опять, в следующий раз, приходит? Сам на себя дивлюсь и себе умиляюсь. Приходит и сходит, словно день за днём, за выдохом вдох или как волна за волной, так и кидает из стороны в сторону точно чёлн безякорный, того и гляди зачерпнёшь до краёв и уж до самого дна не расхлебаешь. Однако держусь на плаву, не черпаю и сухим из воды выхожу. А может это только кажется.

Но сегодня, сегодня особенный день, сегодня я хочу из него выпрыгнуть, как из воды рыба, что на песке хвостом бьёт и воздух ртом и жабрами хватает, а ухватить не может, или наоборот, как рыба на песке быющая вдруг изогнётся предсмертным кольцом отчаяния и, распрямившись в струну, толкнётся о жгучий жалящий песок пляжа и взлетев над полосой прибоя плеснётся обратно в спасительную текучую среду обитания, где привычно затрепещут её плавников пластины, и только её и видели. Вот такой мне сегодня день нужен, чтобы бежать и избегнуть зеркала на двери с красными крапинками и подтёками и прилипшим жёлто-розовым

неприятным комочком. Бежать с другом Суреном у плеча моего, хоть и не друг он мне вовсе, «а так,» а всё одно вдвоём веселее, бежать, оставляя за спиной, далеко-далеко позади, взгляд глядящих снизу и прямо, немигающих смоляных глаз, глядящих с укоризной, отчаяньем и досадой.

А скажи-объясни, друг Сурен, вопрос, на который не существует ответа, всё ещё вопрос? Слеза, непомнящая причинённой боли, всё ещё слеза или капля солевого раствора? Кто знает? Не я, сегодня я ничего не хочу знать, ни себя, ни тебя, друга сиюминутного. Сегодня ночь забвения развернула нам тёплое своё одеяло в блёстках огней, перемигивающихся насмешливо, точно зная, что нам неизвестно, впрочем и это только кажется.

# Маларчик

Эдвин Маларчик слушал упорный, долбяще-сверлящий звон будильника, как если бы дятлом сверлили мозг, и едва начинал трескаться и распускаться по швам его сон, понимал Эдвин, что это его мозг и сверлят, а раз уже сверлят, стало быть будильник проснулся, и стало быть и ему, хочешь не хочешь, пора. Он ужасно не любил это сверление в висках, как будто знал наперёд, словно кто-то из милости или шутя приоткрыл на миг занавесочку в тот чулан, где хранят будущее. Тот чулан у каждого свой особенный, отчего так трудно подсмотреть чужое будущее, а своё иногда доводится, или это только задним числом только кажется. Задний ум как гробовая плита безошибочен и тяжёл.

Не любил, но терзал себя ежеутренне, чтобы исполнилось предзнаменное: ровно в пять и не позже открывал он маленькое кафе в первом этаже углового дома, чтобы проезжающие мотористы с мёртвыми непроснувшимися лицами могли купить у него стаканчик кофе и бублик, жирно сдобренный мягким сыром. От своего прилавка Эдвин не мог видеть, как загорались жизнью обвислые щёки, уминая, укладывая во рту нежной свежести мякиш, как жадно трепетали ноздри, втягивая горячий коричневый запах, что крошил и плавил зябкую оцепенелость утра. Всё что он видел от сво-

его прилавка это знакомую процессию мертвецов, крючьями рук смахивающих со стойки свои стаканчики и пакетики. Всё что он видел в течение двух часов, пока не наступало время идти в школу. Эдвин зарабатывал деньги на машину. Ему не очень хотелось машину и ещё меньше на неё зарабатывать, но он знал, что так нужно, как и ходить в церковь к воскресной службе.

Он знал это с десяти лет, с того самого воскресенья, когда отец его, Генри Маларчик, решил побеседовать с сыном, что случалось так редко, что Эдвину во взрослой его жизни казалось тот разговор был единственным, что, как прекрасно понимал Эдвин, было не так, но всё равно припомнить другого раза не мог.

– Сядь-ка на минутку, -подозвал его отец, по возвращении с утренней службы, когда все переоблачились в привычные шорты и майки безрукавки, и стали вновь на себя похожи, – хочу поговорить с тобой.

Эдвин присел на потёртую диванную подушку, как бы на ходу, готовый двинуться дальше через обещанную «минуту,» присел и слегка втянул голову в плечи. Отца он боялся, не зная почему, ведь Генри никогда его пальцем не тронул, наверное боялся, как боятся медведя, когда он выходит почти беззвучно из-за еловой чащи и останавливается, молча глядя, как коченеют в оцепенении двуногие, крикливые существа, нарушившие тихий и ровный ход его чащобной

жизни. И не любил, как отец говорил, роняя слова медленно и скупно, как будто бросал камни в озеро, выжидая пока разойдутся круги, прежде чем бросить следующий. Вот и сейчас Эдвин сидел в томящем ожидании следующей фразы, рассматривая отцовские руки, большие и плоские, с коротко под мякоть обгрызенными ногтями, рассматривал подробно, лишь бы не смотреть отцу в глаза. «Как клешни у Зойберга из мультфильма. И усы,» подумал Эдвин не к месту.

– Я что-то смешное сказал? – Генри наклонил голову, пытаясь поддеть взгляд сына, который чуть дальше втянул голову в плечи. Эдвин сам не заметил, как легонько хихикнул своей мысли про Зойберга.

– Нет.

– А что тогда?

Эдвин пожал плечами.

– Не маленький. Пора понимать начинать.

Эдвин кивнул, потом ещё.

– Ага.

– Ага что?

– Извини.

Генри вздохнул так глубоко, словно собираясь уйти на дно того озера, куда ухали с расстановкой его слова-камни.

– Ты хочешь в жизни вперёд вырваться?

Эдвин кивнул, но чувствуя, что этого недостаточно, сказал,

– Ага.

Хоть и не хотелось ему никуда вырываться, а хотелось, чтобы наконец договорил отец этот тянучий, как сыр на пицце, разговор, и он бы мог пойти к себе в комнату, сесть на кровати и ждать, когда придёт охота, что-нибудь делать, или же просто ждать, пока позвонит Роб или Коди и позовёт чего-нибудь делать.

– Тогда должен рваться. Всё время. Каждый день.

Эдвин молчал, не зная была ли его очередь говорить, и на этот раз угадал.

– Иначе останешься позади. Как носок на стенке сушки.

Эдвин представил себя носком, прилипшим к сушильному барабану, и опять улыбнулся не к месту.

– Ничего, сын, улыбайся. Сейчас улыбайся. Лишь бы потом, как до дела дойдёт, не пришлось бы плакать.

Сидя на кровати у себя в комнате, играя в покемонов на телефоне, сумел наконец он стряхнуть этот липкий, как паутина, и пронизавший, как холод, разговор. И забыть. Так казалось ему, что забыл, а впоследствии выяснилось, что выжгло в памяти его разговор, и слова, и голос, и томительные промежутки, как тавро неизгладимое, пожизненное, ни содрать, ни выгрызть. Всё из-за того, что и в самом деле плакал. Натурально и неудержимо.

# Знакомство

С Эдвиным я повстречался не так давно и, можно сказать, случайно. Впрочем, не так давно кажется теперь не просто прошедшим, а прошлым. Это на циферблате время на ровные дольки поделено и уложено, как в апельсине, мы же сквозь него как по бездорожью ломим, то густо, то пусто, а где и по брюхо увязнешь, что и не выбраться. Я же покуда трясину да западни миную и путь пролагаю споро и налегке, или же это так кажется.

Меня пригласил Сурен, армянин из Херсона. Объяснил как найти, пересёкши Джефферсон и дальше вдоль Диаз до тупичка.

– Приходи, много наших будет. Все чего-нибудь наготовят, по-русски. Потлак.

Он говорил, дёргая головой и глядя вокруг по-петушиному, только петухи шею вверх тянут и головой как перископом крутят, а Сурен наоборот хохлился и глазами по земле шарил, будто обронённую мелочь высматривал; а вот нос и вправду петушиный был, крючком и костистый.

– Приходи, тоже приноси что-нибудь, ага?

– Я не очень-то готовлю, Сурен, ты знаешь.

– Ну в магазине прихвати чего-нибудь, в русском, неважно, – он утвердительно клюнул воздух влево-вправо. Я же поморщился про себя (ехать далековато), но Сурен как-то

углядел.

– Или бутылку принеси, неважно, ага.

– Хорошо, подумаю.

Я давно привык, что такая фраза исчерпывает разговор, как нажатие кнопки «отправить» в электронной почте, как подпись на квитанции, или как открытая уходящему гостю дверь. Однако не для Сурена и не для всех соотечественников.

– Да ты не думай, приходи, посидим. Ну?

– Хорошо, я подумаю.

– Ты подумай, подумай и приходи.

– Хорошо, я подумаю.

Не удержавшись, я обронил непрошенный, как отрывка, смешок. Однако на собрание я пошёл, и бутылку, как было наказано, прихватил. Там я и встретил Танюшу, на тот момент Таню Хворостову.

Первого впечатления от неё я не помню, потому что его не было, потому что первое, что привлекло и тут же приковало внимание, была девочка, гостившая здесь у своей бабушки, как рассказал мне Сурен, явившийся как «лист перед травой,» но если Сурен был листом, то несомненно баннным, а что я за трава, и думать не хочется.

– Давай, – клюнул он на бутылку у меня в руке, – Я пристрою, а ты осваивайся, ага.

И оставил меня «осваиваться.» Девочка была без возраста,

и только видя подруг, с которыми она порхала между гостей как стайка стрекоз в камышах, я понимал, что заглядываться на это чудо, мне не следовало, если я не хотел, чтоб перестали меня куда либо пускать, или того хуже. Даже в неистовом блеске калифорнийского солнца она смотрелась ясным синеглазым солнышком, убранным легчайшей белизны волнистыми волосами, сливающимися в мягкую, как мечта, косу. Нездешняя синева её беспечных глаз пробрала меня до кости, и коричневой душной мутью поднялась от живота досада. Всё померкло и придвинулось ближе слюбопытством гиены к подранку. Женские крикливые голоса рубили наотмашь, а смех впивался в мозг и терзал его, как та же гиена, распалившаяся, дорвавшаяся-таки до плоти. Хоть бы Сурен пробурчал пробормотал что-нибудь, ага, а то как в землю ушёл, сука. И тут я краем глаза её усмотрел и, зацепив, потянулся.

# Она

Она сидела чуть поодаль на коротком диванчике наискосок, так что нельзя было присоседиться, и подробно перелистывала журналчик, как мне показалось каталог. Подойдя и заглянув ей через плечо, я констатировал свою догадку.

– Каталог.

Изогнув по-утиному шею (лебедь это большая утка), она обернулась и застыла, ожидая продолжения. Я не торопился, рассамтривая её лицо, где негде было зацепиться взглядом, разве что на ямке замытого шрама, еле заметного у края брови.

– Как-то вы лениво общаетесь. Одна... на диване..., – я легонько осклабился. Её вишнёво-чёрные глаза глядели ровно, как горизонт.

– Я мужа жду, -сообщила с прямой справочной службы.

– Он у вас автобус или самолёт?

Она не ответила, а продолжала смотреть выжыдаючи, так что я не знал, улеглась моя шутка в лузу или, прокатившись по краю, откатилась к самому бортику и застыла там неприкаянно.

– Стоит ли томиться ожиданием? Я к вашим услугам.

Я вывесил самую дружелюбную свою улыбку, вынудив и её улыбнуться, так что глаза оттаяли и потеплели. Я склонился чуть ниже попробовать её запах. Свежевымытые, ре-

шил я, вдохнув аромат шампуня от её просто стриженных волос. Она не красилась в блондинку наперекор моде.

– Я ценю ваши услуги, но потомлюсь ещё чуточку.

– Позвольте я потомлюсь вместе с вами. Рядышком, -я кивнул на свободный кусок дивана и пошёл на посадку. Она прибрала ноги, освободив полосу.

– Мебелишку присматриваете?

– Не знаю ещё, может быть.

– Давно с Востока?

– Откуда?

– Из России.

– Два с лишним, а вы?

– Не помню.

Она опять посмотрела выжидаючи, я усвоил эту её манеру ждать-требовать объяснений.

– Я перестал считать года. Сколько мне лет забываю, приходится в удостоверение заглядывать. А кто ваш муж?

– Автобус.

Она улыбнулась первой, и я за ней, и воздух между нами чуть уплотнился, позволив чувствовать друг друга, не касаясь, и пообещав что-то, что ещё не сложилось в слова ни по ту ни по эту сторону воздушного мостика.

– Тан, а Тан, ты что пустая сидишь, -прогудел Сурен сверху, -налить чего? —клянул он вправо-влево. Она замешкалась с ответом.

– Я принесу.

Не дожидаясь ответа, я отправился в экспедицию на бутылочно-бокальный остров.

В любом доме, где собираются гости, имеется такой остров. Зелёно-жёлтый в этикетках, с башенками пробок и гладышами крышек, одной своей частью, где гладыши, утопающий во льдах, как Гренландия, другой, башенной, сухой и тёплой. Я всегда выбираю именно эту.

Причаливая обратно к дивану, отягощённый бокалом в одной руке и коническим стаканом в другой, я был вынужден застопориться перед плотного сложения человеком с веснушчатými руками, покрытыми рыжим волосом. Он по-английски говорил с Таней, тыча крепким с коротко подмякоть остриженным ногтем пальцем в каталожный глянец.

– Мой муж, Эдвин, -представила.

После сложного манёвра передачи бокала Тане и перехвата стакана из правой руки в левую нам удалось сомкнуть утвердительное рукопожатие.

– Очень приятно, -виновато улыбнулся Эдвин.

# Он

Так случилась наша с ним дружба. Неуверен, что другие сочли бы это знакомство дружбой, но если принять во внимание, что друг и другой одного корня... Этот рыже-белёсый немолодой человек был другой на все сто или даже на сто восемьдесят.

– Вы происхождением не из чехов или поляков?

Вопрос его немного смутил.

– Моя мать корнями из Ирландии, отец... тоже по-моему, -как-будто извиняясь, что не оправдал ожиданий.

– Маларчик не звучит по-ирландски.

– Ну мы не все МакМёрфи и Флэннаганы.

И то правда. Что собственно в именах? Вот у меня нет имени, и что? Вернее есть, но не своё как с чужого плеча, и в груди давит, и в животе жмёт. Не люблю я по имени, местоимения предпочитаю; эй вы, мистер, да, да, я вам говорю. Эдвин слегка сутулился, точно стараясь немножко в себя втянуться, чтобы занимать меньше места, но упрямо топорщились его ершистые рыжие брови и аккуратно-круглый живот.

– Что будете пить, -спросил я.

– Эээ, ещё не решил...

– Решайте, я принесу, -я смотрел прямо в его светло-бесцветные глаза.

– Я вообще люблю скотч, -пробормотал он извинительно, -я пойду сам выберу, спасибо.

«Любитель скотча,» отметил я про себя.

– Не стоит и беспокоиться, здесь скотча не держат, я только что проверил. Джэк Дэниэлс, всё что есть. Хотите, возьмите мой, я ещё не отпил даже.

Я протянул ему стакан, наблюдая как тени замешательства и неуверенности трепещут на его лице.

Таня смотрела на нас снизу, как юннат на жуков носорогов, медленно и упорно ползущих по корявой коре какой-нибудь вечной сосны, опускающей якорь своей ошестиненной кроны глубже и глубже в небо.

– Хорошо, спасибо, -принял он наконец стакан во вместительный ковш ладони, -а вы?

– Я себе ещё налью, там бутылка целая, едва почтая, могу всю сюда для нас прихватить.

– Не стоит, я больше скотч люблю.

Любитель скотча, снова отметил я про себя, ещё не понимая зачем.

Знакомым курсом я двинулся в экспедицию, где возле бокально-хрустального столкнулся с Суреном.

– Ну, отлично сидим, ага, а ты ломалась.

Меня покорило, но я не подал виду; знал, что если Сурен решит извиняться, меня покорит куда больше.

– А вы Таню давно знаете, -осторожно спросил Эдвин, когда я вернулся. Он называл её Тания, не выговаривая чужого

неудобоваримого слитного звука.

– Недавно. Сурен только что познакомил.

– А... Сурен забавный человек.

– Я полагаю, мы все забавные, каждый по-своему, даже я.

Просто это надо увидеть.

– Ну значит я ещё не рассмотрел, -застенчиво улыбнулся

Эдвин.

– А я кажется начинаю различать, -она наконец улыбнулась.

# Скотч

Так мы стали дружить домами а точнее их домом. Я приносил какой-нубудь скотч, и мы неспешно его распивали за беседами и стрекотанием телевизора. Впрочем, Эдвин настоял перемежать мои подношения с его угощением. Так я узнал, что он был не просто любителем но и ценителем «вертолётного топлива,» как называл Сурен скотч и виски. К примеру, сегодня я принёс Балвеню. Пришлось немного потратиться, хоть и знал, что Эдвина впечатлить не просто, а точнее нельзя: он казалось знал все сорта если не на вкус то на этикетку. Впрочем, это надо было видеть, как радовался он доставаемой бутылке, как старому другу, зашедшему на огонёк запросто без церемоний.

Угнездившись в бежевых подушках дивана и кресла, собрались мы пригубить из позвякивающих льдом бубенцов-стаканов, чья уютная музыка успокаивала и располагала, особенно Эдвина, судя потому как раздвигалось, расплзалось вдлину и вширь, будто подошедшее тесто, его обычно подобранное тело.

– Поесть не хотите?

Таня перевела взгляд снего на меня и обратно.

– Можно, -неуверенно сказал Эдвин, а я пожал плечами.

– Я сделаю тогда лосося. В плите. Будет быстро.

Она направилась на кухню, по пути обернувшись ко мне.

– Ты будешь лосося? —спросила она по-русски.

Она соскальзывала иногда на русский, и тогда либо я, либо она переводили, но в последнее время всё реже; и Эдвин привык, и нам было в лом. Я кивнул, представив себе большую плавную рыбину, гладкую и нежную как губы и лупоглазую как телескоп.

Уже недели две как перешли мы на ты после того дождливого вечера, кода я вёл её от машины, держа над головой пластиковую сумку, обнимая Таню за плечи, чтобы вдвоём уместиться под этим притворством навеса, пока Эдвин, без навеса, отворял входную дверь и проникал вглубь дома. В передней она обернулась и положила мне руку на плечо, щупая мою безрукавку.

– А ты промок.

– Ты тоже... слегка увлажнилась, -я провёл ладонью по её прямым просто стриженным волосам, размазывая капли тонким слоем.

– Ну что, выпьем чуть-чуть для просушки? Вы что будете? Её прямой как карандаш взгляд упёрся мне в лицо.

– Наливай что хочешь, -крикнула она вглубь дома сухим без интонации голосом.

# Ужин

– Эд, -позвала Таня из кухни, – я лосося не нахожу.

Эдвин застыл, как собака в стойке, подобрравшись и ужавшись в объёме, потом вскочил и поспешил Тане на выручку, как будто помогать волочь из воды грузно тянущую ко дну рыбину. Ой, -донёлся из кухни его голос, -я же забыл совсем, мы с Санкой его во вторник съели, кажется, когда я его из школы брал, помнишь? Совсем забыл, извини.

Санкой он называл Таниного сына Саньку, прилежного ученика средней школы двенадцати лет отроду с копной каштановых волос, ниспадавших на самые брови, которую он не хотел стричь коротко по моде, за что одноклассники, хоть и смотрели косо, предпочитали его не замечать.

– Мог бы вообще-то предупредить, -оборвала его Таня.

Они вернулись в гостинную с пустыми руками, и Эдвин, разведя их встороны, точно подтверждая очевидное, предложил съездить в магазин.

– Я мигом обернусь, ничего страшного. Ведь мы не торопимся, правда?

– Да ладно, -вмешался я, -я могу заказать пиццу или китайского чего-нибудь у Чэнга. А то давайте, я съезжу. Я слегка подался вперёд, но с места не двинулся.

– Нет, нет, ни за что. Вы тут посидите, а я обернусь мигом. Тания лосося хотела.

Его ноги споро прошелестели в прихожую и оттуда за дверь. Мотор подвзвизгнул как ужаленный, и его звук растворился в конце проулка.

Мы помолчали, выжидая пока добежит, разобьётся и утихнет последняя волна этого шторма в стакане скотча. Я пригубил, клацая подтаявшими мини-айсбергами, Таня отозвалась презвзяком своих, и мы переглянулись, в унисон улыбнувшись своей незатейливой шутке. Первым заговорил я, потому что так положено. Почему? До сих пор не знаю. Понимаю вперёд пропускать, дверь открыть и придержать, это да, тут сила требуется, но языком двигать... впрочем я отвлекаюсь, прошу прощения.

– А почему он тебя Танией зовёт, никак не выучит?

– Нет, он иногда выговаривает Таня, но при посторонних больше на Танию соскальзывает. Может ему кажется понятней. Кто его знает.

– Может.

– Мебель однако подобрана, -я повёл рукой вокруг комнаты. Слова выходили скупно как из пустого кошелька.

– Люблю уют, чтобы как дома.

– Как дома? Разве это не твой дом?

– Не знаю ещё.

Её лицо помягчело, уголки рта опустились, придав лицу выражение отрешённости, точно она шагнула в невидимую легкую лодку и без усилия отчалила.

– А покажи мне вокруг, -пустился я в догонку, -а то я дома

самого и не видел.

Мы снова в унисон пригубили и отправились на экскурсию. Я следовал за ней, кивая и поддакивая, откликаясь в основном междометиями, что постепенно сгущались в предгрозовые тучи. Так мы добрались до спальни.

– А здесь я сплю.

– Крепко?

Мы стояли у её кровати; я – облокотившись на раму с видом непринуждённости, она безо всякого вида опустив руки. Ждала, что я скажу или сделаю дальше. Дверь спальни за моей спиной была во всю длину залатана зеркалом, и знать что мы в нём отражаемся было слегка неудобно. Таня взглянула мельком за мою спину, видно проинспектировать своё отражение, потянула воздух ноздрями и перевела взгляд в пространство перед собой, в невидимую его точку, вернее видимую только ей одной и только в этот вздыбленный строптивый момент, и время застыло, свернулось клубком у меня под ложечкой.

Эти моменты я ненавижу, но живу ради них. Моменты, что не прощают, где надо знать чувствовать ту слабо мерцающую точку на дуге времени, перед которой слишком рано и, как вода сквозь сито, утеряно безвозвратно, а за которой лишь запоздалое сожаление и досада, словно упущенная с крючка в серебряных блёстках чешуи немая тайна. Ненавижу и отчаиваюсь от их ненужности и каприза. Зачем? Ведь они наперёд знают все движения этого незатейливого стро-

гого танца, но не подскажут, не поведут, укрываясь за вечное своё право немоты и неподвижности среди мутного потока времени. А ведь было бы славно, кабы просто и напрямик, как Сурен говорит, «Да, да. Нэт, нэт.»

И пока я чувствовал, ёжась, своё отражение за спиной, мой момент удалялся, расходился медленно за кормой, оставляя мне мили- затем микросекунды до поледнего своего дыхания, и тогда подобравшись, отшатнувшись от кроватной рамы, я придвинулся к Тане, поднял руку провести по её волосам и уютно разместить её голову в своих ладонях. Хлопнула входная дверь, послышался мягкий топот лёгких кроссовок и быстро семенящих четырёх лап.

– Ма, -коротко крикнул Санька, -мы голодные!

Он мигом пробежал в свою комнату, нагоняемый лепетом лап Тимофея, их спаниэля, привезённого из России.

# Тимофей

Он из прошлого помнил мало. Помнил и люто не любил запах спиртного, впрочем не так люто как прежде, потому что большой человек Эд иногда пил спиртное, а Эд правильный, и мама Таня пила чуть-чуть. И всё же не любил Тимофей этот резкий, что и описать невозможно, запах и помнил-знал, что и маленький человек Санька ненавидит, что в этом была разница между большими и маленькими.

А вот суматошный тот день он не помнил. Впрочем как раз для Тимофея он суматошным не был. Его как всегда покормили, и Санька вывел его на улицу, где он обнюхался с Найдой, пушистой полукровкой с седьмого этажа, и они бегали вместе, пытаясь загнать наглую юркую белку, а потом вышел этот отвратительный Кнуш, почти голый, похожий на злобного поросёнка. Кнуш был косолап, груб, и не умел играть правильно, кусаясь слишком больно, не рассчитывая силу своих неприлично широких челюстей. Никто его не любил, но все почему-то терпели.

Вобщем день был как день, если бы не укололи его по приходе шприцом и не уложили в тесный ящик с решётчатой дверцей. Он правда не возражал, потому что быстро стал квёлым от наползающего на него смурного дурмана, от которого всё стало лень и ничего не хотелось, даже думать. А после его потащили прямо в ящике, и доносившиеся ско-

возь вату дурмана голоса людей вдруг оживились и остервенели, но ему было всё равно, его везла вонючая фырчащая машина, мерно качая и убаюкивая, и убаюкала: утихли голоса и растворились запахи, и не стало его.

Пока вдруг не резануло глаза беспощадное солнце Калифорнии, не обожгли носоглотку её жаркие сухие запахи, не загудел в ушах знакомый голос большого человека Эда, которому вторили тонкие голоса мамы Тани и маленького человека Саньки. Только не слышал он голоса другого большого человека Алёши. Это смутное ожидание повисело в его мозгу, как недавний придорожный запах мусорного бачка или мимолётный шум проехавшей машины, и растоворилось в весёлом потоке дневной суеты. Потом его снова везла машина но не в ящике а на сидении рядом с Санькой у открытого ветру окна, несущего густой поток непонятных запахов, пугающих и в то же время веселящих, пока Санькины пальцы теребили расчёсывали шерсть за ушами. А потом очень трудно было уснуть в его новом ещё не обжитом доме, где он искал и не находил уголка, где бы успокоилось и замедлилось сердце, позволив неугомному телу размякнуть, расплыться на ковре, и отчалить в тихую дрёму, и хотелось запрыгнуть на кровать к Саньке или маме Тане. Но двери в их комнаты были закрыты, и от одиночества хотелось тихо поскулить, что, Тимофей понимал, делать не следовало и, глубоко вздохнув, прикорнул на бежевом диване в гостиной.

# На бежевом диване

Сидели Санька, подобрав ноги на подушку мусоля экранчик своего телефона, и Тмофей, угнездившись в расщелине между подушек.

– Ма, -оторвав взгляд от телефона, -мы голодные.

– Хорошо, сейчас покормлю Тимку, а мы подождём Эда, он скоро с лососем приедет, тогда и поужинаем.

– Ма, мы только что во вторник его ели.

– И что? Он полезный, в нём омега кислоты много, хорошо для мозга. Особенно таким как ты, что много о себе думают.

– Бла, бла, бла. Можно я пока грэм крэкеров с молоком?

– Нет, обизным будешь, да и аппетит перебьёшь.

Санька мельком посмотрел на меня.

– Хай.

– Хай.

Взгляд его был исподлбья и неприветлив. Не то чтобы он меня невлюбил, а просто был недоверчив ко всем мужчинам, что попадали в Танину орбиту, вращаясь в ней с ползучей вкрадчивой настойчивостью, грозя нарушить устоявшееся, как школьное расписание, течение его жизни.

Он и школу любил за это предсказуемое размеренное течение, и чем бы ни были чреваты его каждодневные подводные камни, текла она плавно и неотвратимо в волнуемое мо-

ре далёкого будущего, и как ни банально звучат слова «светлое будущее,» для двенадцатилетнего мальчика и его ушастой собаки оно и впрямь светлое.

– Вот чего выловил! — шумно ввалился в прихожую Эдвин, победоносно держа над головой магазинную сумку, - О, и Санка дома. Вот хорошо, все вместе поужинаем. Санка, будешь эту монстр-рыбу?

Он по-рыбьи выпучил водянистые свои глаза. Санька хмыкнул и утвердительно закивал. Передав Тане сумку, Эдвин уселся возле Саньки на диване, привычно возя широкой ладонью по Тимофеевой шерсти.

– Как успехи на всех фронтах?

Я так и не узнал про Санькины успехи ни на одном из них, вызвавшись помогать Тане на кухне управиться с бледно-розовым филе монстра, где я бесполезно толочусь вокруг неё, улучая моменты коснуться её плеча, волос, шеи. Она не протестовала, но и не отвечала, словно не замечая моих шалостей, время от времени посматривая на меня искоса с двусмысленным укором. Но вот рыба наконец на столе, и стаканы снова позвякивают мини-айсбергами, испускающими белые талые волны в жёлтое море Балвеню. Санька наколонился к Таниному стакану, потянул носом и напоказ сморщился.

– Не нравится, - улыбнулся Эдвин, - хочешь глоточек?

Санька скривился в ответ ещё больше.

– Ну и правильно, - поддержала его Таня.

– Вкусный лосось, - встрял я, - не зря старались.

Я постарался поймать Танин взгляд, она ответила понимающей улыбкой, что несла зашифрованное сообщение видное всем, но понятное только нам; и было в этом секрете на виду веселяще-манящее чувство параллельной более настоящей реальности, а может это Балвеню так действовал?

– Да, да, -одобрил Эдвин, цепляя вилкой кусок рыбы с поджаристой серой в блёстках кожей, -замечательный лосось, вы просто молодцы.

Его распахнутый энтузиазм слегка остудил моё возбуждение, вызвав едва заметную досаду. Я избегал смотреть на Таню, чтоб не увидеть в ней ту же неловкость, что опустилась на меня с его похвалой, как нить паутины, которую не так просто смахнуть с лица.

Но опустели наши тарелки, и то, что было когда-то рыбой, бесшумно пробирающейся среди зелёных лент и нитей подвешенного под водой леса в поисках съедобных комочков жизни, а после отрезом филейной розовой плоти, приправленной солью и перцем, и кольцами лука, кроплённым лимонным соком и запечённой в духовке, стало лишь вкусовой памятью, стремительно остывающей и растворяющейся в потоке новых ощущений, памятью и уютным чувством сытости, улёгшимся на дне наших желудков, как свернувшийся на диване Тимофей, приткнувшийся между Эдвиным и Санькой. Не сговариваясь, стали мы с Таней собирать со стола, вкушая вновь обретенное чувство друг друга, протянувшееся между нами бестелесными паутинками, пересы-

лающими в обе стороны невнятные шорохи наших намерений, мыслей и импульсов. Мы двигались в двух пластах времени словно сквозь воду: над и под. Снаружи мы ели лосося, пили скотч и теперь укладывали тарелки и вилки в посудомоечный агрегат, перемещаясь прямыми отрезками от рыбы жаренной к съеденой; внутри же подспудно текло наше с ней время, то замирая, то пульсируя, пойманное в каждом моменте, как птица в силке, рвущаяся на свободу, чтобы опять угодить и томиться в очередном капкане момента.

– Давайте ещё по чуть-чуть, -Эдвин позвякал стаканом о полупустую бутылку.

– Расскажи про вылеты, -попросил Санька, притуляясь к его плечу. Он много раз слышал эти рассказы, частенько те же самые, что никогда не надоедали, не прискучивали они ему; часами мог он слушать, как Эдвин летал на задания в разных концах земли, когда служил в военно-воздушных силах.

# Семя

Идея пойти служить была его отца, Генри Маларчика. Эдвин понятия не имел куда и откуда пришла его отцу на ум мысль о военной службе, тем более что ни Генри, ни его отец, ни братья никогда не служили. Всё что Эдвин знал, хоть уже и не помнил, как пришёл он однажды из школы, впрочем не прямо из школы, а отработав свои послеполуденные четыре часа в кафе, убирая со столов, протирая подносы, смешивая фруктовые и овощные коктейли, поджаривая бублики и засовывая их в бумажные пакеты в компании пластиковых ножей и коробочек с мягким сыром; пришёл сбросил в прихожей кроссовки с незавязывающимися по моде шнурками и прошёл к себе в комнату, как обычно. И был обычным этот вечер и этот ужин, когда собрались все за столом поесть, поговорить и как обычно разойтись по своим делам, таким же обычным.

– Ага, -ответил он машинально на вопрос матери, сделал ли он уроки.

Он делал уроки сразу по приходе домой и быстро, чтобы освободить вечер для своих дел и мыслей, привычных и ладных, как нательное бельё, согревающих его избалованное сердце, которому так и не суждено было избаловаться, чего конечно в те годы Эдвин знать не мог.

– Уроки, что уроки? Они и завтра, и послезавтра, и тре-

тьего дня уроки, -невыпадал, как всем показалось, пробурчал Генри, и все на него уставились: он, мать, Тина, его маленькая сестрёнка. Но Генри вернулся к еде, как будто сказав всё что хотел.

– Не скажи, -вступилась мать, -школа это очень важно. Это всему основа.

– А на основе что? Снова основа. Что положишь-то на основу, а? —обратился он к сыну.

Эдвин молчал, не зная нужно-ли отвечать или и так сойдёт, и угадал, потому что отец продолжил.

– У нас вот маленькая растёт, о ней подумать надо.

Все обернулись к Тине, смутив её внезапным лучём внимания, от которого она даже прижмурилась; особенно вперился в неё взглядом Эдвин, точно видя её впервые. Тина занимала далёкий слабо освещённый уголок его жизни, как дальняя полка в гараже, куда складывались ненужные, на выброс, вещи. Свет проникал в этот уголок больше по праздникам, во время её болезни, или когда родители оставляли его присмотреть за ней в их отсутствие. По большей части он забывал о её существовании, а вспоминая, наблюдал с холодным любопытством посетителя зоомагазина за этим белобрысым веснушчатым существом, что глядело на него широко распахнутыми глазами как на кумира, домашнее божество, заботливое и весёлое, но чаще недовольное. Если бы он мог проследить параллель из сегодня в тогда то обнаружил бы к своему удивлению, что Тимофей ему роднее и ближе, чем

была в те годы его сестра.

Глядя на смущённую вниманием сестрёнку, Эдвин вдруг впервые почувствовал наличие связи между ними, что помимо его желания или нежелания тянулась от него к ней невидимой но неожиданно крепкой нитью, и это открытие смутило его самого, и он отвёл глаза в сторону, ища разъяснений у родителей, но мать ничего не сказала, а Генри по своему обыкновению бросил нить разговора, как иногда бросают сигарету после двух – трёх затяжек по рассеянности или от нетерпения. Но и у Эдвина мысли надолго не задержались, проследовав своим назначением, как поезд дальнего следования, слегка притормозив на полустанке, тем более, что ему было о чём думать.

Думы его тревожили мутные и неотвязные, и он едва мог дожждаться окончания ужина, чтобы уединиться в своей комнате с телефоном и позвонить Эрлу ответить на его предложение. Предложение казалось простым и лёгким, и ужасно заманчивым, когда Эрл его объяснял, говоря быстро, увлечённо, с весёлой улыбкой, блуждающей между его глазами и ртом. От Эдвина требовалось подсовывать в пакеты с бубликом и мягким сыром маленький запаянный пластиковый пакетик с белым порошком, похожим на сахарную пудру, когда покупатели в его кафе закажут бублик с «приправой.» Только и всего. А когда Эдвин пристроит первые пятьдесят пакетиков, Эрл ему обеспечит секс с одной из своих «курочек.» Лёгкая ненавязчивая его манера подкупала Эдвина.

«Да ты не суетись, пораскинь мозгами и скажи, как решишь, мы никуда не денемся.» Однако раскидывание мозгами скорее мешало, чем помогало решить. Насколько всё было ясно и просто в уверенном и жизнерадостном исполнении Эрла, приправленном ритмичной жестикуляцией, настолько же всё путалось расплывалось наедине в раскинутых его мозгах, и приветливый полный жизни образ Эрла быстро гас и выцветал, превращаясь в свою тень, плоскую, незнакомую и немного пугающую.

Два обстоятельства путали и пугали Эдвина. Он не понимал, зачем он был Эрлу нужен, почему тот не мог продать свои пакетики сам, напрямую, и сохранить весь секс для себя, ни с кем не делаясь. И хоть Эрл говорил всё в струю и правильно: что так будет безопаснее, без прямых контактов, и что он хочет для Эдвина что-нибудь сделать, ведь это только начало, а как дело пойдёт, они станут партнёрами с большим будущим и успехом, как Бил Гэйтс и Стив Джобс, и что в одиночку дела не делают, не складывались, не выстраивались его слова в стройный ряд, а разбегались в голове тараканами, оставляя чувство невнятной неприкаянности, и потом была проблема Тэда. Тэд был начальником смены, и чтобы все заказы на «приправленные» бублики передавались Эдвину, понадобилось бы его согласие. И хотя Эрл сочинил хорошую, хитрую и убедительную версию для Тэда, и даже заставил Эдвина её заучить и отрепетировать с Эрлом, одна мысль о разговоре с Тэдом вызывала чув-

ство пустоты и слабости в теле; у него холодели руки и ступни, и немела кожа лица, когда он представлял внимательные, всегда усталые глаза Тэда, слушающего Эдвина с участливым вниманием, всегда готового разобраться и помочь, представлял и вспоминал, что Тэд знаком с его родителями и приходил однажды в гости со своей женой, толстой женщиной, ходившей с палочкой после автодорожной аварии, но оставшейся жизнерадостной и невпопад громкой, и тогда хотелось Эдвину сейчас же позвонить и сказать Эрлу, чтобы засунул он свои пакетики, куда не светит солнце, и оставил его в покое, но как раз с покоем дело было «швах,» как говорил Стэн Коен, его учитель социологии, кичившийся своим еврейством и идишем.

Мысли о сексе не оставляли Эдвина с того первого разговора с Эрлом. Как ни гнал, ни отмахивался от них Эдвин, они преследовали его со злым остервенением пчёл убийц, проникая во все щели-извилины его мозговой коры, больно жаля и мешая сосредоточиться днём и спать ночью, превращая поголовно женщин вокруг в тайных недоступных персонажей порно-фильмов, которые он смотрел запоем, ненавидя себя и не всилах оторваться. Однако время шло, и Эрл решил, что оно пришло, а точнее вышло, всё до крупинки, как в песочных часах, на которые Эдвин и посмотреть бы не смог без мысли о женских бёдрах и желания загрузить заложенную в его телефоне интернетную страничку, а раз вышло, то и канителиться больше нечего, и сегодня он должен

был дать ответ.

Запершись в своей комнате, Эдвин сел на кровати и собрался духом, которого ему однако не хватило, чтобы позвонить Эрлу, и он малодушно набрал текст, «Извини, но это не для меня. Я не могу.» Он глубоко с отчаяньем вздохнул и сморщившись, как от лимона, нажал «послать.» Отбросив телефон, он с облегчением раскинулся на кровати, как телефон вдруг зазвонил, точно обидевшись на такое обращение.

– Ты оборзел, -утвердительно спросил Эрл, -Я ждал две недели, ты думаешь для чего?

– Извини, я не могу. Правда. Не обижайся, ладно? Ты всегда найдёшь кого-нибудь, обязательно, -выпалил Эдвин, плохо сображая, что говорит, -Ну пока, в школе увидимся.

– Ты меня не покакивай, я не сральник тебе. Знаешь сколько ты мне должен, сука, а?

Голова у Эдвина поплыла, ему казалось он не мог выбраться из ужасного сна, потому что снился он наяву.

– Не могу. Потом, в школе. Я никак, я сам думал, но не могу. Ты сам знаешь, я хотел. Без меня, ладно? Пожалуйста извини.

Его голос нечаянно сорвался на плаксивость, и Эдвин отключил телефон, бросившись ничком на кровать и мечтая уснуть, но уснуть он не мог и лежал, наблюдая запоздалое неспешное прояснение в его мозгу, где из мутного потока событий выкристаллизовывалось холодное и твёрдое осознание, что он пропал, что этот кошмар никогда не прой-

дёт, а просто поглотит его в равнодушной трясине, что жирно чавкнет, сомкнётся над его головой и оторвнёт к поверхности цепочку пузырей. Ему даже стало трудно дышать. Но именно эта плаксивая стыдная нота в конце разговора решила дело. «Ах, так ты плакать,» подумал Эрл, «Ну что-ж, пидор, ты у меня поплачешь. На все сто поплачешь. На двести, на...» Он задохнулся злостью.

На следующий день Эдвин не видел Эрла в школе. «Странно,» подумал он, но не задержался на этой мысли, отвлекшись на школьные дела, к которым у него вдруг вернулся интерес, «О чём я думал все эти дни? Как в тумане.» Отработав после школы свою смену в кафе, он торопился домой засесть за уроки и нагнать упущенное, когда перед ним, как тролль из коробочки, материализовался Эрл.

– О, привет, - смутился Эдвин, - напугал, чёрт.

Он протянул для приветствия руку и получил удар в висок, от которого рухнул на асфальт. Ухмыльнувшись, Эрл переглянулся с двумя своими приятелями, подтянувшими из-за угла. Медленно возвращающееся сознание Эдвина отметило, как неловко лежит на асфальте его тело, содрагаясь под ударами нескольких пар ботинок, норовящих размозжить его пах и голову. Впрочем, Эрл допустил две ошибки: он мало что знал про Эдвина и слишком дал волю своей злости; он горячился и мешал своим приятелям наносить точные калечащие удары. И Эдвин сумел подняться. А как поднялся, всё стало просто и ясно, и можно было не думать,

потому что не о чем было думать, его тело само знало и помнило, что делать, как двигатель после включения акселератора, и вот уже один из Эрловых приятелей занял его место на асфальте, пуская струйку крови из разбитого рта и носа, и сам Эрл сложился пополам, пряча голову в карман из сложенных рук, и кто знает, что ещё пришлось бы ему прикрывать и чем, если бы не выбежавший на шум Тэд. Он швырнул на землю Эрла и его ещё державшегося на ногах приятеля и обшарил их карманы, отобрав ножи. Эдвину всё же досталось прилично: два сломанных ребра, перебитый нос и острые головные боли в течение нескольких месяцев, и в качестве побочного эффекта он перестал думать об Эрле, а интерес к порну настолько ослаб, что даже стало грустно.

# Поросоль

А потом, через два коротких года разговор вернулся к тому же самому столу во время ужина, как будто бы и не прерывался, разве что Тина заметно подросла; вернулся без предвещания и подготовки, как и в первый раз, просто брякнулся посреди обыкновенного шума еды. Начал Генри.

– Ну что, скоро всё твоя школа. Пол-года и... всё.

Эдвин кивнул, думая о своём.

– Стало быть, думать надо.

Эдвин поднял глаза на отца, пытаясь проникнуть в смысл сказанного. Но не проник.

– Ну и что надумал?

Генри направил свой сверлящий взгляд прямо на сына. Эдвин опустил глаза и пожал плечами; мысли его рассеялись, как туман под жгучим калифорнийским солнцем, и он сосредоточился на макаронах с сыром.

– Или ты думаешь всё на нас переложить, да? У нас вот маленькая растёт, о ней думать надо, - Генри кивнул на Тину, заставив и её уткнуться в тарелку. Эдвин машинально взглянул на сестрёнку, отметив, как вытянулись за последние годы её руки и шея. Он не знал, куда деваться от пристального взгляда и вопросов отца, а встать и уйти к себе в комнату боялся. Вступилась мать.

– Ну что ты на него насел в самом деле. Пойдёт в колледж,

как все, отметки у него хорошие, чего тут думать.

Она напала на свои макароны, перемешав их как неприятельские ряды и кинув в рот целую роту.

– Ага, как все. Из родителей тянуть. Год за годом, как все, глядишь, как-нибудь всё устроится, как у всех.

Подавшись назад, он отклонился на спинку стула, глядя на Эдвина с вызовом, стараясь подкараулить его взгляд, устремлённый в тарелку; и как только, не выдержав тяжёлой удушливой паузы, Эдвин робко поднял глаза, Генри нанизал их на стальные буравчики своего взгляда и тут же выпалил,

– А? Ты так про себя думаешь? Родители, мол, всё устроят, а ты так, пассажиром. Плохо-ли.

Эдвин побелел, осознав, что и впрямь, сам того не зная, он так и думал. Он втянулся в себя, как черепашка в панцирь, не в силах ни пошевелиться, ни думать, и две нечаянные предательские слезинки выкатились из-за нижних век и сбежали на подбородок. Заметив их, Тина взглянула на отца вупор расширенными посветлевшими глазами, и щёки её пошли бардовыми пятнами, дыхание участилось, что было заметно по трепещущим ноздрям. Мать перестала жевать и повернула к Генри свою бизонью голову и, в отличие от Тины, глаза её потемнели, словно налились свинцом. Генри тяжело перевёл дыхание, сжимая подлокотники стула, так что костяшки и подушечки его пальцев с обгрызенными по мякоть ногтями побелели.

– Ладно, сын, не обижайся. Я за тебя, о твоём будущем

беспокоюсь.

Он посмотрел вокруг на всех по очереди и остановился на жене.

– Я о его будущем беспокоюсь. Или ты хочешь, что б он всю жизнь бублики подавал? Или как я говно бульдозером месил?

– Почему бульдозером? У него голова хорошая. В колледж пойдёт, образование будет.

– В колледж? А на какие растакие? И потом в долгах вот посюда.

Он резанул воздух у бровей ребром ладони. Зависла пауза. Генри придвинулся обратно к столу и завозил вилкой в тарелке, как будто закончив разговор.

– Я тебе дело советую, -обратился он к Эдвину, безуспешно пытавшемуся провалиться сквозь землю, -подумай об армии. И делу обучишься за бесплатно, и деньги на учёбу дадут... А понравится, карьеру сделаешь.

– Какая армия! -всплеснула руками мать, -Ты что говоришь-то. Вокруг посмотри, что в мире-то делается. Кругом война. Ирак, Сирия, Корея, даже две, Иран, Китайский пролив... этот. И это только начало. А если его убьют?

– А если нет?

Мать не сразу сообразила, что на это сказать.

– Их на мотоциклах больше гибнет, чем на войне. Это факт. Подсчитали.

– Что ты на него насел. Дай ребёнку поесть спокойно.

У него голова хорошая... Сам разберётся.

– Я что, есть ему не даю, -поднялся из-за стола Генри и, направляясь к дивану, походя похлопал Эдвина по спине, - Ты, сын, думай, думай. От жизни не спрячешься.

С того дня Генри будто забыл об этом разговоре, так что Эдвину казалось, что не будто, а в самом деле, но ещё долго избегал он разговоров с отцом, на всякий случай.

Да и Генри не настаивал, а может и вправду забыл, или же знал, занал не думая, не задаваясь вопросами и не мудря.

Каждый год по весне приезжали в школу рекрутёры, разбивая шатры на автостоянке, чего никто не любил, потому что приходилось дальше идти к машине мимо их тентов, пусть немного дальше, а всё же повод для недовольства. Вот и в этом году, как всегда в понедельник, чтобы ухватить всю неделю, вспучилась стоянка песочного и защитного цвета брезентовыми шатрами, где обложившись буклетами и банками газировки во льду сидели подтянутые молодые и молодцеватые люди в форме и нагрудных планках. Привычно торопясь мимо них, чтобы поспеть к своей смене в кафе, Эдвин шёл к машине, как неожиданно замедлил шаг.

«Ты сын думай, думай,» вдруг сказал в его голове голос отца, и не в памяти сказал, а наяву. Эдвин прислушался, думая что показалось, но голос прозвучал снова, «За тебя, за будущее твоё.» Испугавшись, он оглянулся вокруг, ища глазами отца, но того нигде не было, вместо него Эдвин встретился взглядом с ясноглазым ребячливым рекрутёром.

– Зайди на минуту. Возьми охладись, жара-то какая, - сморщив нос и протягивая Эдвину банку колы. Ноги его понесли сами, пока он в недоумении решал, откуда мог донестись сюда голос отца.

– Старший пилот Лэми, военно воздушные силы. А прощай Майк, а тебя как звать?

# Стебель

– Я вообще-то тороплюсь, -Эдвин мельком оглядел палаточку, -Не, спасибо, -отказался он от приношения, но Майк продолжал держать банку колы на вытянутой предлагающей руке.

– Да бери, потом выпьешь. По такой жаре пригодится. А куда торопишься?

– На работу, -беря банку.

– Понимаю.

Пригубив колы, Эдвин рассматривал картинки самолётов, буклеты, фотографии, на одной из которых он узнал Майка среди группы пилотов на фоне обтекаемого с ястребиным носом самолёта. Внимание его привлекла высокая и тонкая как антенна девушка с открытой улыбкой, белыми как с одуванчика волосами, выбивающимися из-под пилотки, и, не в лад с улыбкой, прямым отсутствующим взглядом с затаённой злой тоской, что пробудила в Эдвине неуютное но любопытное беспокойство.

– Что нравится? —перехватил его взгляд Майк, -Джейн Глэден. Вот такие у нас служат. Хочешь познакомлю?

У Эдвина зарделись кончики ушей.

– Шучу.

– Мне пора, наверное.

– Пора не пора, иду со двора. Заходи завтра, поговорим.

Я тебе о нас расскажу.

– Хорошо.

– Ну и отлично. Дай твой номер введу, позвоню напомнить.

В этом, правда, нужды не было; напоминания здесь были излишни. Джейн маячила у Эдвина в голове весь оставшийся день и не давала спать ночью. Не в силах, хоть плачь, отогнать это наваждение, ворочался он с боку на бок, то сбрасывая то натягивая на себя простыню, не зная холодно ему или жарко. Как необъезженный жеребец под ухватистым цепким седоком брыкались и вздыбливались его мысли о ней, но не могли сбросить пока не истошили свою прыть и не опустились в тёмное небытие сна. А наутро они вернулись, и он чувствовал себя неожиданно бодрым. Едва дождавшись конца уроков, Эдвин направился в павильон старшего пилота Лэми, что стратегически выставил фотографию с Джейн поверх буклетов на переднем краю стойки..

– Как дела? —протянул он ладонь для приветствия.

– Отлично как обычно, -Эдвин удивился этой неизвестно откуда проскочившей хамской нотке.

– Ну и хорошо, -Майкл испытующе заглянул ему в глаза, хоть и без того знал, что на уме у этого похожего на большелапого вислоухого щенка школьника, -Мы в Кувейте перед рейдом, -кивнул он на фотографию, с которой Джейн смотрела на Эдвина уже по-другому, с вызовом и с затаённой тревогой. Майкл рассказал ему, как готовились к операции,

какие участвовали самолёты, как возвращались, волновались друг за друга, не спали ночами, как не терпела Джейн повышенного внимания, но привлекала его всем, что ни делала и ни говорила, притягивала его сильнее чем самолёты, приказы, Кувейт и противник. Эдвин с головой погружался в эти истории, видя выбеленный солнцем песчаный Кувейт, струящийся вдоль металлических корпусов машин расплавленный воздух и смотрящую поверх голов тонкую голубоглазую девушку в зелёном комбинезоне, заброшенную в этот мир шальным порывом ветра и доставленную не по назначению, девушку мечтающую и боящуюся быть найденной; как погружался сейчас Санька, слушая постаревшего Эдвина про его самолёты, его вылеты, его бессонные ночи.

Притулившись к Эдвину и запустив пятерню в Тимофеев мех, погружался Санька в эти рассказы, переселяясь в их будораживший мираж. Таня смотрела с умилением на это диванное трио, и уголки её рта расслаблялись и опускались, и слегка отпускала кожа на скулах у краешка глаз, отчего лицо принимало выражение умиротворённости и лёгкой печали. Я подмигнул ей тайком. Она ответила кривой улыбкой, и лицо её подобралось в дежурное выражение настороженности.

«С Алёшкой-то они так хорошо никогда не сидели», – вдруг подумалось ей.

Потом были ещё рассказы про другие задания и страны дислоцирования, другие самолёты и ударное оснащение; другие генералы отдавали другие приказы, и другие пилоты летели их исполнять, идя на риск, на подвиг, на смерть, но везде и всегда неизменными оставались дружба и забота друг о друге в победах и неудачах; были компьютерные игры полётов и поражения целей, была растущая привязанность к старшему пилоту Лэми, который за короткую эту неделю отгородил в жизни Эдвина особый надел, куда не допускался никто, кроме Майка, его рассказов, самолётов, и Джейн. Потом были бланки и справка от врача, потом справка из школы.

– У тебя как с успеваемостью?

Эдвин принёс свою ведомость.

– Очень хорошо, то что нужно, нам нужны башковитые. Ведь мы не пехтура с автоматом по кочкам бегать, у нас птицы по сто миллионов каждая, а то и больше. Ответственность.

Потом ещё были бланки, потом последняя подпись.

– Ты не торопись, эти вещи сгоряча не делают. В семье поговори, посоветуйся, это как-никак контракт. Пять лет ты наш, -он растянул паузу, как клоун улыбку, глядя Эдвину прямо в глаза, и, обнажив оба ряда отполированных зубов, добавил, -а мы твои.

В свою смену среди потока бубликов, стаканчиков кофе, взбитых коктейлей и противотока денег и карточек Эдвин

всё присматривался к Тэду, думая не поговорить-ли, ведь Тэд служил, пусть недолго, пусть никогда не рассказывал, но служил и мог бы поделиться советом и опытом, но не стал расспрашивать наверное от того, что Тэд никогда не рассказывал, а если кто и спрашивал, отговарился парой слов невразумительных и не всегда понятных. Эдвин всё же старался держаться к нему поближе; вдруг разговор зайдёт о службе и войне как-нибудь сам собой, но не зашёл, и всё что ему осталось это семья; отец, мать и сестрёнка Тина, которая конечно не всчёт, хотя всегда была на его стороне, чего Эдвин так никогда и не заметил, а если бы и заметил то не придавал бы значения. Вот и сейчас он сидел с ними за ужином и слушал, как трудно отцу находить подряды, и как неумолимо растут налоги и цены, и слушал, как вторила ему мать про прихлебателей, что никогда не работают только жалуются на бедность, на низкое пособие, на плохие школы и придиричивую полицию, и отвечал на мамины вопросы про отметки, учителей, и как она приводила его в пример Тине, и все эти слова привычные как заусенцы на ногтях звучали странно, словно в замедленной записи на низких тягучих нотах. Не только слова но всё вокруг как будто сместилось со своих привычных мест, как поезд сошедший с рельс, что продолжает свой ход, как ни в чём не бывало, и только Эдвин видит и чувствует, что это уже не тот поезд, и видит он его со стороны, и видит себя в этом поезде пассажиром, чьё место уже готово освободиться, и он уже видит это место

сиротски пустым, тоскливо пустым, и слышит Майка, «В семье поговори, посоветуйся,» но как, как перебить этот размеренный и привычный как жизнь ход, та-да-да-да, та-да-да-да, как впрыгнуть в мчащийся состав на ходу, да ещё попасть в свой вагон? И он примирился с чувством невозможности, и вздохнув с облегчением, пообещал Тине помочь с физикой, объяснив, что надо просто усвоить её основные правила и способ мысли, и всё остальное станет на свои места, и Тина просияла от радости, зная, что и в самом деле станет, раз брат берётся помочь. И в конце недели он подписал контракт.

– Да, одобрили.

– И не пытались отговорить? Мама не испугалась, не плакала? —недоверчиво но вскользь спросил Майк.

– Не... не очень. Особенно отец... с пониманием... он... он понимает...

– Что, горд за тебя? —помог Майк.

– Да, да, гордится...

– Ну и хорошо. Что-ж, тогда полный вперёд?

– Полный вперёд, -возбуждённо хихикнул Эдвин.

Потом линия на листе бумаги с напечатанными словами «Подпись» и после длинного промежутка «Дата,» где Эдвин торопливо, будто украдкой, раскатил свою подпись и задвинул датой, и поскорее вернул ручку Майку, точно боясь передумать, а выйдя на улицу уже не боялся, зная, что назад пути нет, что, как выдавленная из тюбика паста, вырвалось в будущее содержимое его жизни, ведь сказал же он, «Полный

вперёд.» А когда он ехал домой, всё виделось ему узнаваемо непривычным, как непривычно но узнаваемо выглядит умытая редким в этих краях дождём калифорния, похорошевшая и посвежевшая, точно картина с которой бережно стёрли патину времени, оживив угасшие было краски и раскрыв глубину перспективы. Неуютная новизна его судьбы разворачивалась перед Эдвиным, ужасая и возбуждая неотвратимостью, вздымаясь щемящей в груди волной, что расплескалась бисером дюжины капель, по шесть из каждого глаза. Он шмыгнул носом и крепче сжал руль своего потрёпанного доджа, так что побелели подушечки его пальцев, окаймлявшие под мякоть стриженные ногти.

## Короткие ногти

– Что за привычка так коротко стричь ногти, -Таня брезгливо повела плечами. Я так никогда и не понял, чем они её раздражали, подумаешь ногти, -Смотрится нелепо, просто нелепо.

Я было открыл рот возразить, но тут вошёл Эдвин, избавив меня от необходимости соображать как и чем возразить, и стоит ли. Мой взгляд упал на его объёмистую ладонь, где покойно угнездился стакан скотча, но я смотрел не на скотч, а на Эдвина лилипутовые ногти, вдавленные в бело-розовые подушечки пальцев, как карамель в тесто.

– Налить? -спросил он, приподняв свой стакан. Я кивнул, не потому что хотел ещё скотча, а чтобы он ушёл наливать.

– А тебе? -он посмотрел на Таню.

– Нет, -сказала она, как отрезала.

Эдвин потоптался на месте, мешкая уходить и виновато поглядывая на неё, пытаюсь сообразить, что не так, но не сообразил.

– Ты что надулась? -спросил я, когда он ушёл, и тронул мыском ботинка её ступню, обутую в тапочек чёрного бархата с пунцовой пуговицей у выреза. Она уставила на меня свой прямой как гвоздь взгляд, ждущий ответа на незаданный вопрос. Пытаясь перевести его на язык слов, я бы сказал «Ну?» Вернулся Эдвин, протягивая мне стакан. Пригу-

бив, я кивнул утвердительно, зная как приятно ему это скупое одобрение ценителя, от которого лицо его неминуемо расплзлось в улыбке, и бессмысленная фраза вроде, «Лафройг всегда Лафройг,» срывалась с губ. Была пятница, и уже время, как говорится, и честь знать, предоставив хозяев их домашней рутине, чтобы она привычно перетекла из деловой пятницы в расслабленные выходные с их неспешным досугом и безобидными радостями. И как ни гостеприимен был Эдвин, я чувствовал растущее в нём нетерпение проводить, если не выпроводить дорогого гостя, нетерпение, которого, я уверен, он не замечал, ибо заметив, тут же бы подавил, заместив беспощадным потоком радушия, и чувствовала его нетерпение Таня, иначе с чего бы она вдруг громко, как на площади, заявила, -Я хочу чаю с печеньем. Попьёте со мной?

– Сейчас, на ночь? -немного опешил Эдвин.

Несмотря на годы совместной жизни он всё не мог усвоить эту русскую традицию пить чай в любое время дня непредсказуемо и беспричинно. Не дожидаясь ответа, Таня поднялась собирать к чаю. Переглянувшись с Эдвиным, я пожал плечами, дескать, «Что тут поделаешь,» он пожал плечами в ответ, дескать, «Ничего не попишешь.»

Мы сели пить чай в гостинной треугольником. Таня напротив Эдвина, и мне пришлось пристроиться с торца, чтобы ни с Таней, ни с Эдвиным не быть рядом, и то и другое казалось неловким, хотя чувство неловкости и так усе-

лось во главе стола, озирая нас с нахальной усмешкой, «Ну-с, мои хорошие, и что теперь будем делать?» Сгущала атмосферу Таня. Беспричинное раздражение исходило от неё невидимым и без запаха нервно-паралитическим газом, срывая мысли и речь, замутняя сознание желанием убежать и укрыться, что было или казалось невозможным, и бесцельно болтая в чашке пакетиком индийского со слоним чаем, контрабандой привезённого из России Санькой, я стал расспрашивать Эдвина о том, как он подсел на скотч, ведь самый популярный вид алкоголя в этой стране пиво, вино на втором месте; честно говоря, я не знал что на втором месте, но ввернул про вино для живости разговора, пытаюсь рассеять и заглушить как дезодорантом дурной запах неловкости. Я всегда других расспрашиваю, предпочитая о себе молчать. Не то чтобы утаиваю какое-нибудь злодеяние, отнюдь нет. Никого я не убивал, не считая пойманных в те давние годы, когда рыбалка ещё казалась забавой, рыб, не грабил банков, не растлевал малолетних, не воровал и не насиловал, я, если подумать, даже никого не обманывал. Просто я не люблю, чтобы про меня знали лишнее, даже имя. Не считая официальных органов, никто например не знает, где я родился, и кто были мои родители, а если спрашивают напрямую, я придумываю себе биографию в зависимости от собеседников и обстоятельств. Однако ж проговорился: только сказал никого не обманывал, и вот тебе. Что ж, похоже римскому папе придётся подумать прежде чем жаловать мне

сан святого. И всё же в моё оправдание прошу заметить, что сочиняю я себе прошлое не стем, чтобы вводить в заблуждение или ради какой тайной выгоды, а чтобы не обременять настоящее, не сковывать его паутиной прошлого; я с детства не переношу это ощущение паутины на лице, когда идёшь через лес и, не заметив, цепляешь её на себя и долго потом не можешь стереть до конца, и даже когда сотрёшь ещё несёшь на коже тактильную память невидимых липких нитей; вот и сейчас мне уже неприятно, что я поделился своими детскими впечатлениями, чья паутина уже опутала моё повествование и так и останется на нём, сколько ни вытирай ладонями лицо и ни три ладони о штаны и рубашку. «Тряси не тряси,» как говорил один мой давний знакомый, не скажу кто и насколько давний, просто назову его Гантенбайн, «последняя капля всегда в трусы.» Коллекция моих реинкарнаций, беспорядочная и эклектичная, включает ранение в югославской кампании на стороне сербов, ранение на стороне боснийцев (ребёнком я сорвался с забора на колючую проволоку, и шрам так до конца и не изгладился), ножевую рану (тот же шрам на спине) во время миссии на Филипинах, турецкое происхождение, учитывая мою смуглявость, польское происхождение с мамой, подавшейся приступу легкомыслия во время путешествия по Италии к югу от Неаполя, учитывая смуглявость южных итальянцев, серия отцов как набор свёрел к электродрели и несколько нейтральных профессий, достаточно скучных и бесполезных, чтобы не вызы-

вать интереса. Так например Таня и Эдвин думали, что я инспектирую детские игрушки на безопасность, что ей казалось «мило,» а ему «хм... в самом деле?» тогда как Санька презрительно фыркнул и потерял ко мне интерес сразу и навсегда, что, собственно, мне и нужно. Последнее чего я хотел это нарушить устоявшееся, но ещё хрупкое равновесие привязанностей в их семье. Как искусный вор старался я не оставлять отпечатков, хотя помнил, что и Иисус Христос наверняка оставлял следы на воде. Я был осторожен и терпелив, терпелив как калифорнийский гриф, что часами кружит на одном месте, высматривая тушку кролика, сбитого машиной, или задавленную белку, или задушенного и недоёденного койотами телёнка, или застреленного койота. Вид этих птиц завораживает, когда раскинув метровые крылья скользят они в невидимом мальстрёме воздухворота и, опустившись к вершинам деревьев, взмывают вновь, одолевая гравитацию с той же лёгкостью с какой скользили по нисходящей спирали. Акутагава, например, считал что «Терпение это романтика трусости,» без сомнения кивок в свою сторону с характерной кривой усмешкой холодного самоуничтожения. Вообще, Япония Акутагавы почему-то холодная, как вечная мерзлота, тогда как Эдвин, когда был дислоцирован на Окинаве, рассказывал, что жара там одуряющая, несравненно хуже Калифорнии. Тем не менее Акутагава покончил с собой, что как, скажет вам каждый, кто подошёл вплотную или видел смоубийство, не для робкого десятка. Я представ-

лял себя этой большой строгой птицей, что, поворотив набок лысую твердоклювую голову, кружит над гостинной, над домом и над кварталом широкой, но скаждым кругом сужающейся спиралью, выжидая самый подходящий единственный в своей неповторимости момент, чтобы чёрной свистящей стрелой с костяным наконечником клюва спикировать на мою курочку, цыпочку лапочку чернобровую. Станным и нелепым образом Эдвин парил рядом со мной круг за кругом в этом воздушном параде, как будто выжидая тот же момент, не с тем чтобы мне воспрепятствовать, а в бессильном отчаянии наблюдая неотвратимую и равнодушную как прилив судьбу. И представлялся он вовсе не грифом, а больше-лапым с виноватой улыбкой Эдвинам, неуклюжим в стихии ветров. Они телепали его как пластиковый пакет над шоссе, гонимый дуновениями от рассекающих воздух машин. Он так и не успел объяснить мне происхождение его пристрастия с скотчу.

– Ну неужели не противно, -вскинула на него глаза Таня, -оно же крошится у тебя прямо в чай. И потом тащишь в рот эти пальцы. С этими ногтями! Эти ногти!

Я мельком неодобрительно взглянул на неё. Совсем ни к чему был этот шторм в чашке чая. Подумаешь, я тоже не люблю эту манеру макать печение или сухарики в чай, молоко или кофе, никогда почему-то не видел, чтоб их макали в какао; и не люблю когда облизывают пальцы, когда крошат галеты в кремовый суп из моллюсков, ну не люблю

и что с того, на людей не бросаюсь. Но в Таниных потемневших как скоропостижно созревшая вишня глазах уже сгустилась гроза. И тут случилось нечто из ряда вон. Лицо Эдвина дрогнуло, скривилось в напрасном усилии, и из глаз выпала торопливая горсть непрошенных слёз, что скорее напоминало недержание чем плач. С гримасой боли и стыда Эдвин вскочил и выбежал в ванную.

– С ним такое бывает, - прокомментировала Таня, брезгливо сложив губы, что даже меня покорило.

По дороге домой я всё корил себя что засиделся так долго. Уйди я на пол-часика раньше, и может не разыгралась бы эта мини-драма, а если бы и разыгралась то без меня; в любом случае я бы о том не узнал. Я не люблю знать лишнего хоть и ужасно любопытный, сам не пойму, как эти качества во мне уживаются. Одно знаю точно; не люблю обнажённых эмоций кроме как на экране, на сцене или в книге, но ведь тогда их уже не назовёшь обнажёнными. Нелепо называть картины и скульптуры nude, мы же не обзываем так новорождённых младенцев. Я ехал с открытым верхом, хотелось проветриться. В шумном дыхании душной ночи я катил по опустевшим бульварам и авеню, бесцельно следя за монотонным танцем теней от пальм. Они стремительно выпрастывались из тротуара, вздымались, проплывая надо мной великанскими лохматыми швабрами, и через пытьдесят метров аккуратно укладывались обратно в тротуар, напоминая мне по далёкой случайной ассоциации ступени эскалатора, когда они

оттопыриваются как иглы дикобраза, а после складываются, продолжаясь гладкой в рубчик лентой. За этими праздными наблюдениями я прозевал знак стоп и вылетел на перекрёсток. В замедленном ужасе, растянутом между ударами замершего сердца, я наблюдал в бессильном оцепенении, как в паре сантиметров, казавшимися миллиметрами, от моего вольво летучим голландцем пронёсся блестящий хромированный грузовик быстрее скорости звука и страха. В следующий проблеск сознания я увидел себя вцепившимся в руль, как утопающий в спасательный круг, и вжимающим педаль тормоза в пол, точно пытаюсь продавить его насквозь. Сердце как с цепи сорвалось, не находя себе места, оно отдавалось в ладонях, висках, горле, а в ушах всё стоял истерический вопль-визг шин, и я обнаружил, что стою посреди перекрёстка на пути движения и что следующая пересекающая его машина уже точно превратит мой скелет в анатомический ребус. Перевалив за перекрёсток, я стал у обочины перевести дух. Липкая тёплая ночь с горелым запахом резины лежала на мне потной простынёй, и я поднял крышу моего вольво, чтоб от неё укрыться. Только что я бы мог быть убит. Стоило этому многотонному серебристому буйволу дороги замешкать на долю миллисекунды или же мне ускориться, моя вольво была бы скомкана со мною внутри как неудачный черновик любовной записки, и моя нежная тёплая такая родная плоть превратилась бы в смазку для искарёженного металла машины. Ссутулившись на водительском сидении,

я созерцал невоплощённую сцену своей гибели, пытаюсь постичь, что, кто, зачем или хотя бы почему сохранило мне жизнь. Но не постиг.

# Стебель

Первый сигнал будильника включался в четыре тридцать. Стандартные протяжные позывные, что минуя сознание, проникали прямо в ствол мозга, усердно высекая в нём искру бодрствования, достаточного для механического движения руки, по мышечной памяти находящей заветную кнопку удушения этих сигналов, чтобы не двигаясь спелёнутому в одеяле покоиться в сладкой полудрёме ещё пятнадцать коротких минут. В четыре сорок пять взрывался болю в ушах второй сигнал, раскалывая тишину записью петушиного крика, но в этот раз рука душила этот сигнал движением быстрым и точным, и это движение раздувало искру бодрствования в тусклое ещё пламя, что пробуждало сознание и вместе сним понимание необратимости утреннего распорядка, как школьником он понимал неизбежность утренней смены кафе с выдачей кофе и бубликов. И когда ровно в пять будильник издавал старомодное грубое металлическое дребезжание, мозг Эдвина окончательно сбрасывал тёплую дремотную пелену, открываясь полностью зябкому сумраку утра, точно также как секунду спустя скидывало обжитое за ночь одеяло его голое тело, подставляя быстро покрывавшуюся пупырышками кожу неприветливому пред-рассветному воздуху. Душ, бритьё и чистка зубов зажигали всё больше лампочек в его сознании, как загораются огоньки

датчиков на приборной доске перед взлётом, и после коротких сборов Эдвин зайцем выстреливал из казармы.

Он страшно боялся опоздать на поверку. Не по трусости, а от стыда. В прошлом году он опоздал и был вызван из строя капитаном Донасиано, коренастым широкоскулым лётчиком с большим плоским носом и тяжёлым как тоска взглядом из-под кустистых бровей.

– Что, Маларчик —звучно пробасил Донасиано, прохаживаясь пред ним взад вперёд -как почивалось?

Эдвин стоял смиренно, опустив глаза, ожидая конца нотации; его не в первый раз отчитывали.

– Вижу, что не плохо, раз не торопишься, а? -Донасиано сделал паузу, оглядев весь строй с зтаённой улыбкой, собирая внимание на себе.

– Хорошо было под одеяльцем играть своей пуси, а? Не мог оторваться?

Донасиано ослабился, обнажив неожиданно мелкие острые зубы. Весь строй взорвался дружным лошадиным хохотом. Эдвин вздрогнул и поднял глаза как можно выше, пытаясь удержать наворачивающиеся слёзы, но чем больше старался, тем полнее взбухал их прилив, пока не вылился предательски из-за век и не потёк к подбородку, размывая нижнюю часть лица в сырую пухловатую неприглядность, вынуждая Эдвина тянуть носом, чтоб уж совсем не распустьт нюни. Донасиано посмотрел на него испытующе и с удивлением, стерев с губ ухмылку.

– В строй, -сказал он коротко и снова оглядел всех из стороны в сторону на этот раз холодным и тусклым как лезвие ножа взглядом. Хохот стих, как отрезало.

– Сегодня в повестке... —звично прогудел он, начиная обычное утреннее оповещение.

В конце недели, в пятницу после полудня напарник Эдвина сказал, что закончит техосмотр за него.

– Пуси, бросай это, я сам закончу. Тебя Донасиано звал. Кличка приросла к Эдвину как привитый стебель и принесла плоды.

– Садись, -сказал Донасиано поверх компьютерного монитора и выкатился на стуле из-за стола; расставив колени и уперев в них локти, он поддался чуть вперёд к Эдвину в знак доверительности, -За то что унизил тебя перед строем я извиняюсь. Наверное это было излишне, но и тебе бы надо задубеть шкурой. Это армия, принцеской быть не годится, так долго не протянешь, Пуси. Свободен.

Донасиано ошибался, как ошибся потом Мэт Додж.

Они звали его «бешенный Додж» хотя считали скорее психопатом чем бешеным. Его побаивались даже вышестоящие майоры и капитаны из-за его пронзительно светлых на выкате глаз. Они всегда смотрели прямо с вызывающим равнодушием, независимо от выражения его лица, от того что он делал и говорил, от того что говорили ему другие; стальным неподвижным блеском они напоминали глаза сле-

дящего за тобой крокодила. Этот взгляд сопровождался ни к чему не относящейся полу-улыбкой неизменно блуждающей на его губах. Однако его боялись не только за глаза и улыбку; уже двоих отправил Додж в больницу с раздробленными костями. Оба раза он сумел так повернуть, что первый удар наносили они, поэтому его не отчисляли от службы, хотя все были уверены, что его отчисление дело времени, причём недалёкого, да он и сам так считал, находя успокоение в своём фатализме, что делало его ещё опасней. Додж был высок, широк в кости и по-кабаньи массивен; он даже смеялся с коротким похрюкиванием, но не утробно-кабаньим а поросычьим. Он заприметил Эдвина, споткнувшись о него взглядом, как только тот прибыл на их базу из северной Каролины с группой курсантов. В отличие от других, Эдвин смотрел открыто и приветливо, не отводя глаз и не настораживаясь под упорным как дуло, вызывающим взглядом Доджа. Да и после ему никак не удавалось спровоцировать Эдвина, влезал ли он перед ним без очереди в столовой, смеялся ли, похрюкивая, над его ошибками, сваливал ли на него дежурства; Эдвин не просто игнорировал Доджа, но казалось искренне не замечал его происков, погружённый в учение и службу, которые ему нравились и поглощали его целиком, что ещё больше возбуждало холодное бешенство Доджа. В этом была его особенность – накаляться холодом до состояния равнодушного любопытства, с каким ребёнок разрезает червя посмотреть, как поползут его поло-

винки «детки».

Их эскадрон сидел у жестяной стены ангара, прячась в её тени от утомительно липкого солнца. Они ждали смены, что запаздывала, вынуждая их к бессмысленному безделью и скуке.

– Пуси, -вдруг позвал Додж, -как твоя пуси? – Он пнул Эдвина ботинком в ляжку не больно но чувствительно. Эдвин передвинулся от него подальше.

– Эй, я кажется задал тебе вопрос, -Додж стал над Эдвиным, нависая над ним глазастой башней.

– Оставь Пуси в покое, -сказал кто-то за его спиной, но тут же осёкся под быстрым свирепым взглядом лупатых глаз.

Эдвин тоже поднялся на ноги и повернулся уйти, но Додж поймал его за ворот комбинезона.

– Ты что, глухой? Или может невежливый?

– Оставь его в покое, Додж, он ничего тебе не сделал, ты сам начал. Мы все свидетели, -раздалось несколько голосов сзади.

Эдвин, не сопротивляясь, открыто смотрел на Доджа.

– Они правы, -сказал он с беззлобной улыбкой, -оставь меня лучше в покое.

– Лучше? —ухмыльнулся Додж, -Кому это лучше?

Он с внезапной силой рванул Эдвина за шиворот взад-вперёд, рассёкши ему кулаком губу. В этом была первая его ошибка, в неведеньи принять беззлобность Эдвина за безза-

щитность. Эдвин ненавидел и боялся драк но знал, что есть момент, когда надо перестать думать и чувствовать, и дать волю телу, потому что оно знает лучше и не нуждается в подсказках, как знает ручей куда ему течь, не думая и не выбирая. И тело задвигалось точно и слаженно. Додж рухнул и, приподнявшись на локте, с любопытством смотрел на Эдвина снизу, хохоча и хрюкая, так что широкое его лицо расплылось в блин. Рывком он вскочил на ноги и стал в боевую позицию.

– Довольно Додж! Прекрати, тебе говорят! Оставь Пуси в покое!

– Кто ж это, -заходясь смехом —кто ж это... пуси... пуссси... в покое... —его лицо как неумелая картина потеряло всякое портертное сходство.

Он обрушил на Эдвина лавину тяжёлых как валуны ударов, предвкушая волнующий хруст костей и чавканье крови, но лавина удивительным образом обтекла Эдвина, разбившись как волна о пирс, и сам Эдвин вдруг оказался текучим и скользким, и, потеряв равновесие, Додж снова оказался на земле на этот раз со сломанными фалангами пальцев, вывихнутым плечом, стремительно заплывающим глазом и носовым кровотечением. Он попытался подняться, но, охнув от боли, осел, ослабился и, сплюнув розовой слюной, весело хоть и с усилием хрюкнул.

По отчислении из военно-воздушных сил Мэт Додж вернулся домой в Хинкли, Иллинойс с намерением поступить

в полицейскую академию, а если не получится («если» конечно излишне в виду его досрочного отчисления за нарушение порядка и дисциплины) устроиться охранником или вышибалой.

– Мы ещё встретимся, Пуси, -сказал он на прощание, сказал плоско с потухшим взглядом, как будто не веря своим словам.

– Эй, Пуси, где твоя пуси? —дразнили его приятели, что непременно вызывало смущение и два розовых пятна на щеках. Он допустил ошибку, однажды соврав, что у него есть девушка в Питтсбурге, думая что так он пресечёт расспросы и любопытство к его личной жизни. Но расспросы посыпались барабанным соло: покажи фото, когда она придет, чем занимается, изменяет ли тебе, с кем, когда познакомишь, кто родители, и так без конца. Смелости сочинить её в полном объёме у Эдвина не хватило, он даже не решился придумать ей имя и отделялся общими словами да увёртками, «а тебе зачем... хорошее имя... как зовут так и зовут...», так что вскоре уже никто не верил в его питтсбургскую барышню, но продолжали свои беззлобные дразнилки, которые его ужасно расстраивали, хоть он и не подавал виду. На это смелости у него хватало.

Эдвин часто вспоминал Джейн, чью фотографию он видел у рекрутёра Лэми, подумывая даже назвать свою вымышленную кралу её именем, но не решился, боясь разрушить

неведомое ему равновесие, которого, он знал, не существует, но которого он горячо хотел и от которого ждал чуда, сулившего счастье, как от загаданного на падающую звезду желания. Эдвин знал, что наверное мог бы легко её разыскать через Лэми, если она ещё служила, но не пытался, боясь коснуться самой мысли о ней, как мираж или приведение, в чьей природе исчезать без следа при малейшей попытке прикосновения. Он придумывал ситуации и случаи, где они встречались по прихоти обстоятельств, и она улыбалась ему понимающе точно зная всё что он думал, придумывал и проигрывал в голове эти сцены снова и снова, ненавидя чувство опустошения, наступавшее следом, как после плохого кино в кинотеатре, когда ещё темно в зале, и время идти назад в будни не солоно хлебавши, а точнее и не хлебавши вовсе. Эдвин знал, что ему нужна девушка не в мыслях а в жизни, как у других, иначе с ним случится что-то плохое, что-то жалко безнадёжное как пожилой бездомный бродяга, роющийся в мусорном бачке узловатыми пальцами с чёрной каймой под ногтями, выуживая банки и бутылки, отправляя их в грязный пластиковый мешок. Иногда ему выносили из кафе бублик и стакан кофе, иногда просили Эдвина; сам он никогда бы не стал, он побаивался бродягу, скорее робел, и не любил его затхлый запах общественно-го туалета, не любил его шумное паровозное дыхание и всегда удивлённый взгляд перед тем как сказать спасибо, но его просили, и он выносил, стараясь поскорее сунуть подноше-

ние в ладони и бежать назад, не глядя бродяге в лицо, которое давно уже стёрлось из памяти, оставив только узловатые в пигментных пятнах руки. Знал что нужна, но не знал где её взять. Всему что Эдвин в жизни знал он научился от других, но никто никогда не учил, где берут девушек, а те кто знали не рассказывали, а если и рассказывали не объясняли. Но и когда помогали, знакомили, представляли и подставляли, у него всё равно не ладилось с упрямым постоянством судьбы, которой правил стыд. Он стыдился своих желаний, не зная почему, но зная что нужно их прятать поглубже куда-нибудь за мозжечок, чтобы никто не заподозрил их в нём, не разглядел за непроницаемой гримасой равнодушия, чтоб не подумали будто он думает эти мысли, позорные нехорошие мысли, приставуче неутомимые. Особенно не давали они покоя после томительно унылой как по заданию беседы с какой-нибудь дамочкой, к которой он, набравшись, скорее налившись храбрости подходил или его подводили, на вечеринке ли, в баре, или же просто в гостях, беседы, что она прерывала минут через пять под самым благовидным предложением, что благо только видело или могло представить, чтобы его не обидеть, потому как видела, что Эдвин хороший человек, добротный как швейцарский армейский нож. Он тяготился непосильным трудом общения, вечеринок, знакомств, предпочитая зарываться в работу и учёбу как в траншею, хотя был лёгчиком. «Мы не пешки с автоматами бегать,» всопинались слова рекрутёра Лэми, а вместе с ним – фотогра-

фия Джейн, и Эдвин с головой погружался в траншею. Он любил механику и электронику, мог часами в них разбираться, поэтому легко учился, тем более что армия за это платила, тем более что благодаря этому он знал самолёты с изнанки на лицо и обратно, и начальство его ценило продвигая в ранге легко почти без усилий, как набирали высоту его самолёты. При переходе с одной модели на другую его почти не надо было учить; Эдвин знал самолёт вприглядку, как опытный жокей лошадь, и всё что оставалось подружиться, а другом он был преданным, часто оставаясь после работы с механиками на техосмотр и проверку своих «птиц,» как звали свои машины пилоты. Он бы и ночевал в ангаре, если бы не стыдился прослыть «гиком» и гомиком, хотя гиком уже прослыл, поэтому если звали в бар или на вечеринку тут же соглашался, на миллисекунду быстрее, чем догоняла его волна сожаления, поднимаясь от живота и наполняя грудь холодной давящей пустотой, соглашался молниеносно, только бы не обнаружить, не выказать замешательства ни нечаянным вздохом, ни метнувшимся взглядом.

Если стрелять наугад настойчиво и достаточно долго, в конце концов поразишь цель, особенно если не важно как долго, какую цель и в конце каких концов.

# Шэлли

Я не могу когда скучно, просто не могу, от скуки мне плохо делается. Плохо и тошно, а когда тошно, я всех ненавижу даже хороших, кто ничего мне не сделал. Поэтому я люблю ходить в Шэлли. Здесь много места для танцев, и сюда лётчики ходят, они не скупые и весёлые, здесь всё забываешь. Они смотрятся как на подбор юными, и симпатичных много. Стараются одеваться броско и с шиком, но не хватает стиля. Ну и что, подумаешь. Сегодня я пришла рано, я же говорю от скуки, а эти уже здесь, Мексиканки. Все крашены блондинками, а глаза-то всё равно угольями, как у ведьм, глаза-то не перекрасить. Не люблю их; они липнут к ребятам и чуть что тащат с мамами знакомить, потом с отцами, у кого есть конечно, потом со всей семьёй рыл под сто. Опутывают как паутиной, а сами коротконогие и квадратные как чемоданчики с ручкой, не люблю. И что они в них находят? Странно даже. Толкнула деревянную дверцу, вошла, она забилась за мной туда-сюда, резная, обитая зеркалами с внутренней стороны. У Шэлли стиль такой, под старину. А что, мне нравится. Синди нет ещё. Я люблю с ней ходить или ещё с кем-нибудь. Одной как-то не так, неуютно, сидишь на виду, как проститутка.

– Бельгийского, пожалуйста, -прошу Нэда, -Ты чего смотришь, как в первыйраз видишь?

Глаза как из бойниц, всепроникающие всезнающие. А что смотреть тогда, если всё знаешь, да и вообще, какое его дело.

– Хорошо смотришься сегодня.

– Да? Спасибо. А вчера плохо смотрелась?

– А вчера я тебя не видел.

Ухмыльнулся, как бы сам себе, будто что-то знает но не говорит. Стакан мне запотевший двигает с ползущей через край пеной.

– Есть что сказать, скажи, а нет...

Холодненькое, как я люблю, чуть во рту пощипывает.

– Нэд.

– А.

– Тебе не надоело бармэнить?

– Нет, -ответил он просто. Врёт небось как реклама, да и зачем я спросила?

– А мне б надоело.

Он ничего не сказал и завозился со стаканами, время от времени смотря баскетбол по телевизору на стене, а я пошла в туалет проверить наружность. Всё вроде в порядке; ресницы веером, веки подведены, и губы лоснятся. Повернулась уходить было, но задержала взгляд на лице в зеркале. Лицо смотрело молча, нельзя сказать чтобы приветливо, словно спрашивая, «Тебе чего?»

– Так, ничего, -я чуть взбила причёску и вышла из уборной. Пена в стакане осела, и остались только пузырьки по стенке. С пеной интересней, веселее что-ли. Можно Нэ-

да попросить, он вспенит наверное... А вот и Синди, легка на помине. Как всегда востроносенькая, глазками так и стреляет как мышка. Здравствуй, мышонок.

– Привет.

– Привет, давно здесь?

Обнялись, щёчками приложились, осторжененько, чтобы основу не смазать, ей ещё целый вечер держаться.

– Не, только перед тобой пришла. Думала, ты удержишься, а ты вот уже.

– Бельгийское?

Нэд перегнулся к ней из-за стойки.

– Чего налить?

Свойскость какая-то в его тоне. Ко мне он так не обращается. Может он спит с ней? Впрочем, мне какое дело, с какого куста ворона слетела.

– Мартини, что-ли.

Она пригубила, оставив помадный след на стакане. Надо было мне тоже мартини взять. Мужики от вида этого отпечатка не хуже чем от кокаина заводятся. Синди обшарила взглядом бар, точно мышкой по всем углам пробежала.

– Ты как? -сказала она.

– В порядке, -ответила я.

– Ну правильно. Нэд, а чего так тихо?

– Так ещё ж нет никого, рано.

– Мы есть, -стрельнула она него глазками, -заведи что-нибудь, только не кантри своё.

Нэд запустил старушку Гагу. Мы на минутку замолкли, вслушиваясь. С музыкой не так пусто.

– А вот и потянулись, -распрявился и приосанился Нэд.

Стайка мексиканцев просыпалась в дверь; широкомордые, чёрные как галки, и коренастые как бочонки. Они всегда стайками как выводок собираются. Уселись за столик, погалдели и отрядили одного к Нэду.

– Можно нам кувшин пива?

– Разумеется. Какого хотите?

– Корону.

– Корона только в бутылках.

– Ну тогда... —он обернулся к своему выводку, – Я сейчас вернусь.

А вот и они, наши идут. Стриженные и стройные, и все молоденькие, а те кто постарше моложавые, им это идёт. Все как дубки на подбор. Чуть не строем прошли в зеркальные двери. Синди их быстро прощупала глазками как на контроле и кивнула мне утвердительно.

– Покатило.

И сказала вроде весело со смешком, а у меня вдруг сердце защемило. Бывает так, всё вроде хорошо, катит, никаких тебе проблем, а на душе кошки скребут, как на подбор дранные. Сама не пойму отчего, у меня наверное нервы глупые.

А потом к нам двое подошли. Один повыше и поразговорчивей с ухмылочкой, он вёл другого, обняв за плечи, как младшего брата, хоть тот и постарше был или казался. Ну

Синди того что получше конечно оприходавала сразу, она это умеет. И что они в ней только находят, мышке востроносенькой, а ведь находят что-то и липнут, а чем я хуже? Впрочем я не в обиде, без неё мне б куда тоскливее было бы. Короче, мне второй, младший брат, остался, стеснительный до безобразия. Сел рядом и глаза больше отводит, а если и смотрит то украдкой,

– Здравствуйте.

– Привет.

– Ммм, я возьму чего-нибудь выпить, хорошо? —Он зарделся. Очень даже мило.

– Почему нет? Это бар как-никак, -я приподняла свой стакан для наглядности. Он заказал скотч.

– Я смотрю вы не любитель пива.

– Мы не пехтура, -сказал он заученно, как будто даже чужим голосом.

– Вы с автоматами не бегаєте, пыль не глотаете, и пивом не заправляетесь, -закончила я его фразу. Я эту феню слыхала раньше и не раз. Он виновато улыбнулся, потупился и покраснел до кончиков ушей, а глаза его с белёсыми ресницами как будто изготовились заплакать, но это видно показалось. Он отхлебнул свой скотч.

– Можно мне? —кивнула я на его стакан. Он чуть подвинул его ко мне. Я пригубила, поморщившись, оставив на ободке красный отпечаток губ. Не хуже Синди.

– Обжигает внутри.

– Не, когда привыкнешь не замечаешь, -он опять отпил.

– А вы, стало быть, привычный?

– Да, то есть не то что я постоянно пью...

– Я – Милли, кстати.

– Очень приятно, я – Эди. А Милли, это...

– Мелинда.

– А, как Мелинда Гэйтс?

– Да что вы, я куда симпатичнее, -я заглянула ему прямо в глаза с вызовом. Он снова залился огнём заката. Скотч тихонько смешивался с пивом, но не в желудке у меня а в голове.

– Эди это...

– Эдвин.

# Шрам

Эдвина ещё не было, когда я заявился. «На работе задерживается,» объяснила Таня, так что прояснение запаздывало за объяснением, как раскаты грома за молнией. Я стоял посреди гостиной, прислушиваясь к этим раскатам и ворочая мозгами, как рычагами трактора, утюжа извилины, незамысловатых но очень важных мыслей, рассматривая между тем знакомую как домашние шлёпанцы комнату, точно видя её впервые. Диван бежевой кожи, могучий флагман уюта, камин с пурпурными языками холодного декоративного пламени, лижущего декоративные же поленья, ряд фарфоровых слоников и вывезенная из России кукла Алёна на мраморной крышке камина, часы над камином без стрелок (модерн), обеденный прямоугольный стол морёного клёна, стеклянный газетный столик с каплей инь-янь на крышке, красивый японский, тоже модерн, всё привычное и всё не к месту или скорее не ко времени. Тимофей вышел из-за дивана и, посмотрев искоса, прошёл мимо. Между средним и указательным пальцем моя рука держала горлышко Глен Ливета.

– А Санька где?

Я знал от кончиков горящих ушей до прилипших к полу подмёток, что время сейчас и здесь, понимал, что не случайно пошёл Санька к приятелю, но я то, я, меня не спросили, не предупредили, не подготовили.

– А зачем?

– В видеоигры играть.

– Надолго? Куда бутылочку?

– На стол. Хочешь, налей по чуть-чуть.

Я не хотел но налил. Мы пригубили. Двенадцать лет выдержки не хухры-мухры. Маленьким, читая в книгах про вино из погребов французских замков, я представить себе не мог, как можно так долго выдерживать и ждать, ждать этой заветной даты; пятнадцать лет, двадцать лет; они казались нереальными эти срока как и замки с погребями и покрытыми вековой пылью и паутиной бутылки, запаянные сургучом, слуги в ливреях и господ в камзолах чёрного бархата, пристёгнутые к золочённым шпагам, готовые вспороть друг другу животы при малейшем намёке на оскорбление чести, что блистающим нимбом висела над их головами, как над ликом святых. Нереальными но такими живыми казались они; вот откроется дверь, и войдёт, снимет шляпу, нарисовав ей в воздухе завитушку как на векселе росчерк и отвесит поклон не царю, не смертному, и не богу а себе одному, своей незапятнаной чести. И хотелось наружу, на волю из своей маленькой медленной жизни. А теперь могу и представляю. Двенадцать, пятнадцать, четырнадцать лет назад; знаю, что и как было, о чём печалился и над чем суетился. А ведь есть такая фамилия Суетнов. Это как идут два хохла и видят афишу. Один другому говорит, «Дивися, Сруленко, яка смешна фамилия – Гусев.» Знакомы и нереальны каза-

лись диван и камин, и положивший на лапы морду Тимофей, и Глен Ливет, растекающийся теплом по гортани, и кукла Алёна с нагло выпрастанными из под юбки ногами в белых туфельках, и, больше всего, она, смотрящая на меня упрямыми и отрешённо спокойными глазами цвета спелой вишни. Но я то, я... я знал и шёл с тем же упрямым неотвратимым терпением, и пришёл, здесь и сейчас, и следующий шаг мой. Я шагнул и ещё, обойдя угол стола, протянув к лицу её руку.

– Откуда шрам? —я провёл средним пальцем по едва заметной, точно забелённой, щербине на её коже под самой бровью.

– С печки упала, -ответила она чуть сдавленным голосом.

– Горячая была?

– Очень.

Поставив стакан, я обернул рукой её плечи и, подавшись к ней, приложил губы к её рту, вдохнув запах и вкус Глен Ливета. В зеркале на двери я видел многорукое чудище со спиной посреди груди и затылком, вlepленным в моё лицо, оставившим нетронутыми нос, глаза и лоб, и собаку, свёрнутую у дивана. И пока языки наши знакомились друг с другом наощупь, её быстрый, порывистый, мой осторожный и методичный, я размышлял прикидывал мой следующий семимильный шаг. Но куда?

Одна возможность к дивану, он рядом, всего пару шагов, не прерывая поцелуя и как я люблю, чтобы поддалась, поз-

волила, помогла, именно в таком порядке; ненавижу этих женщин, у них никогда точно не знаешь, а неточно кому нужно, и до ненависти люблю. Вторая возможность в спальню, это дальше, придётся разомкнуть объятие, заполнить дистанцию и время суетливой неловкостью, зато... зато потом... но я уже двигал к дивану, неторопливым мягким шагом. Мы опустились на него легко как бабочки на лепесток, но бабочки не носят джинсов и в чёрно-белое домино блузок. Снаружи послышалась подрулившая машина, хлопнула дверца, и лёгкие шаги скороговоркой прошлёпали к двери. Танины глаза заметались как загнанная в угол мышь, и она рванулась с дивана, в том же движении поправляя одежду. Поднялся и я, заправляя рубашку, как говорится, ближе к телу и принимая вид сдержанной непринуждённости.

– Вы что? — сказал Санька, глядя на нас снизу, наклонившись почесать подкатившегося ему в ноги Тимофея.

– Наигрался? Так рано?

Санька не ответил, снимая кроссовки.

– Мы вот Эда ждём, -она подняла со стола стакан, -новый скотч пробовать.

Я за это время отошёл от Тани на нейтральное расстояние и поднял свой стакан, слегка махнув в Санькину сторону.

– Хочешь попробовать?

– Да ты что! —она нервно хихикнула. Я пожал плечами, внутренне поёжившись под Санькиным презрительным взглядом, и отхлебнул чуток.

– А чего так рано? —продолжала Таня.

Теперь пожал плечами Санька.

– Не знаю. Не покатило.

– Есть хочешь?

– Я с Эдом поем.

– Он не скоро ещё.

– Подожду, -Санька исчез в своей комнате, пропустив туда

Тимофея.

– Ну и я подожду, -сказал я вопросительно.

– Конечно, -Таня вздохнула и села на диван, глядя перед собой, -Телевизор включить?

# Мелинда Хилл

Синди уже чирикает со своим вовсю, пташка мордашка, как это быстро у неё получается как по маслу, а у меня...

– И что, Эдвин Эд?

Опять улыбается, застенчивый. А улыбка у него хорошая, открытая.

– Не знаю, Милли Мелинда, -пожал плечами, -вам понравился скотч?

– Не знаю. Закажи мне ещё.

Он посмотрел в сторону Нэда, подняв руку, как отличник. Я кликнула:

– Нэд, налей нам здесь!

– Только я бы спивом не советовал...

– А я его тебе оставлю, -пододвинула ему свой стакан, - угощайся.

– Я пиво...

– Знаю, знаю, ты лётчик.

– А вы здесь живёте?

– Нет, я сюда отдохнуть прихожу, развлечься, выпить.

Я выпятила губки. Он снова зарделся и опустил глаза. Человек единственное на свете животное, что умеет краснеть и имеет для этого повод. Это Марк Твэйн сказал. Не то чтобы я читала, Ник говорил, давно это было. Ник, Николас, Ник, подонок, каких мало. Весёлый был.

– Нет, я имел в виду, здесь, в городе...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.